

Лада БЕЛАНОВСКАЯ

Лада Белановская родилась в Астрахани, с шестилетнего возраста живет в Москве (за исключением лет Великой Отечественной войны). Имеет высшее техническое образование, работала надпроектированием объектов связи. С 1985 года стала профессиональным художником, член МОСХ России. Участвовала в пленэрах и выставках в России и за рубежом. Сфера интересов – восточно-христианская медиевистика и ее памятники в Восточной Европе; по результатам путешествий есть публикации в сборниках Санкт-Петербургского музея истории религии. Автор повести «Свет каждому. Поездки по Сербии» (изд-во «Русский Путь», 2016).

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Из книги «Путешествия за грань»

Дом, где я родилась, стоял на тихой астраханской улице, на той невидимой границе, что отделяет обширную татарскую часть города от его центральной части.

Название *улица Тихомировская* очень подходило этой относительно широкой улице, по которой мирно двигались арбы и повозки, не производя шума, благодаря мощному слою пыли на мостовой. Они курсировали мимо нашего дома между большим районом Татарбазара и другими частями города, широко и бестолково раскинувшегося между рукавами и протоками дельты. Полуденную тишину нарушали разноголосые певучие призывы водовозов и торговцев арбузами, дынями и всем прочим, что привозилось из районов.

Когда я подросла и стала разбирать написанное, меня очень удивило, что на почтовых конвертах нужно писать *улица Тихомирова*, а не привычное слово *Тихомировская*. В этом было что-то очень неправильное, тем более что взрослые про Тихомирова мне тоже объясняли не очень понятно. (Кстати, я узнала совсем недавно, что был он на самом деле видный революционер-народоволец, убежденный сторонник террора, что совсем не соответствует ни его фамилии, ни облику нашей тихой улицы.)

В те годы все быстро менялось, и время ставило новые вехи этих изменений. Я уже не удивилась, когда в тридцать пятом или тридцать шестом году бабушкина улица стала называться *Челюскинской* (*вернее, улицей Челюскинцев*). Тогда в стране не оставалось города, или любого населенного пункта, где не имелось бы улицы, названной в честь героически спасенного экипажа затертого льдами парохода «Челюскин».

Появилась табличка с названием, но в обиходе все жители продолжали называть ее по-старому. Так же, как ближний к нам мост через Канаву, пыльный городской садик и большая улица, ведущая в центр города, как в прежние времена, все еще назывались *Губернаторскими*. Самые большие и красивые городские бани так и продолжали называться *Черновскими*, и никто не называл их так, как было написано кривоватыми буквами на новой вывеске, кое-как приделанной над входом поверх красивых букв старого названия. Я совсем недавно освоила грамоту и находилась в периоде острого интереса ко всему, написанному крупным печатным шрифтом. На новой вывеске значилось, что это «Санитарно-пропускной пункт №1 Городского банно-прачечного треста». Старинная кондитерская на центральной улице обычно именовалась *Шарлау*, или, если быть точным, *У Шарлау*. Никто не называл это чудесное место «Кооператив № 4 Горторга», как значилось

на вывеске. Я теребила взрослых и тоже не получала ответа, они целовали меня и отшучивались. И дедушка говорил что-то о «многих знаниях, умножающих беды». Все смеялись, а я немного дулась на них.

Бабушка навещала своих пациенток в любое время года и в любую погоду, мне же удавалось поехать с ней далеко не всегда, а только вечерами ранней осени или весной, когда страшный астраханский зной отступал или еще не полностью набирал свою силу. Возвращаясь из дома пациентки, мы выходили на угол, где обычно в ожидании стояли извозчики. Подойдя к одному из них, бабушка говорила заветное слово: «На Тихомировскую!», и мы ехали, уже не спеша, под розовым закатным небом, через весь город. По улицам и через дороги сновали горожане, гуляющие или спешащие по своим вечерним делам.

Наша пролетка раскачивалась на рессорах, преодолевая ухабы и выбоины старой мостовой. От этого глубокого качания было немного страшно, моя душа замирала от радости, и хотелось в такт качке подпрыгивать и взлетать еще выше, до самого неба. Бабушка посмеивалась, но ее руки крепким кольцом держали меня сзади и не давали вырваться и взлететь.

В то время, в конце двадцатых годов, я была еще совсем мала, мне еще предстояло вырасти и открыть для себя все, что было вокруг. Самой освоенной для меня областью мира был бабушкин дом и двор, его обитатели и те наши знакомые, кто часто к нам приходил.

Собственно, наше довольно просторное жилище было не отдельным домом, а половиной большого деревянного дома, длинным фасадом с высокими арочными окнами смотревшим на Тихомировскую улицу. Дом был разделен на две половины каменной стеной-брандмауэром, и каждая его половина имела свое отдельное парадное с двустворчатыми входными дверьми. Двери были массивные, с красивыми медными ручками; наша ручка всегда сияла, она была предметом особой заботы нашей домоправительницы Мани. Выше, на полотнище двери, недоступная для моих глаз, висела красивая медная табличка; будучи поднятой на нужную высоту, я любила гладить пальцем завитки еще не понятных для меня букв. Мама мне читала:

Акушерка

Евгения Павловна Климентьева

Я давно подозревала, что главный человек из всех, кто окружает меня, это моя бабушка Евгения Павловна. Табличка подтвердила это окончательно и бесповоротно. Мне, как и всем маленьким детям, было почему-то очень важно выстроить для себя субординацию окружающих меня людей. Как всякому живому существу, в жизненной системе координат мне нужна была единая, доступная пониманию точка отсчета.

Детская душа изначально настроена на *абсолют* во всем, и не признает никакой относительности. Кстати или некстати, но тут же приходит мысль о точно таких же повадках собак и многих других братьях наших меньших, но это так, к слову пришлось.

В другой, не нашей, половине этого длинного дома проживал его владелец, у которого бабушка снимала нашу большую квартиру вместе с частью двора и дворовых построек. Хозяин дома был необщительным человеком, его редко можно было увидеть во дворе. Обычно, он выходил из дома вечером, и соседи с ним здоровались, называя по имени-отчеству, он же, молча глядя в одну точку перед собой, лишь приподнимал соломенную шляпу и молча кивал головой. В облике и поведении этого человека, которого все за глаза называли непонятным словом *дьякон*, для меня было что-то таинственное. Мне думалось, что дьякон это такой человек, вроде колдуна или волшебника, и я глядела на него

во все глаза, когда он проходил. Совершенно не представляю, откуда залетела мне в голову эта фантазия, и почему его внешний вид запомнился мне так невероятно подробно.

Мне до сих пор не понятны такие странности человеческой природы. Какой смысл заложен в том, что я так подробно помню этого чужого мне человека, и в то же время столько нужного так легко и безвозвратно улетает из памяти.

Играя во дворе, я видела, как дьяконовы дети плющили свои носы и ладошки на стеклах веранды, и с интересом следили за носящейся мимо их окон детской стайкой. Только став взрослой, я узнала, насколько тяжела и опасна была жизнь этих внешне неприметных людей. После установления в Астраханской губернии власти большевиков духовенство подверглось особенно жестоким расправам со стороны властей и ЧК. Служителей культа расстреливали без суда, как врагов революции. В 1919 был расстрелян вместе с епископом идущий вокруг собора пасхальный крестный ход.

Шли двадцатые годы, в Верхнем и Среднем Поволжье население выкашивал голод, и у властей еще не доходили руки до «социально чуждых» граждан. Позже, в середине тридцатых, о них еще вспомнят. Наш домохозяин, бывший дьякон кафедрального собора, старался никак себя не обнаруживать. Чудом избежав расправы во время смены власти, он теперь тихо жил со своим семейством в самой небольшой части своего прежнего дома, выходя только по необходимости.

Двор, расположенный вдоль внутренней стороны дома, был вытянут и состоял из двух половин, на каждую из них выходило свое дворовое крыльцо и застекленная терраса.

В самом конце длинного двора, против всегда распахнутых массивных ворот стояло каменное строение красильни, бывшее когда-то каретным сараем. Красильней владел процветающий в то время меховщик и шапочный мастер, татарин по имени Гаряй.

Когда Гаряй, отец моих приятелей Сугута и Раузы, появлялся в дверях бывшей каретной, вся наша детская стайка собиралась вокруг, ожидая привычной игры. Вся фигура красильщика была припорошена чернотой, особенно узловатые руки, где в складках кожи черный цвет приобретал сине-металлический оттенок. Гаряй поднимал чёрные клешни рук и делал вид, что идет ловить нас.

Это была обычная наша игра. Мы прекрасно знали, что Гаряй добрый, и всё же внутри все обмирало от страха, и мы с визгом, налетая друг на друга, неслись от этих черных рук в дальний конец двора.

Дом, где жила семья красильщика, тоже выходил в наш двор. Отсюда начиналась татарская сторона, и все дома до самого Татарского Базара уже отличались высокими сплошными заборами с низкими калитками в воротах. Словно отмечая эту границу зримо, под уклон от красильни по пыльной земле текла, извиваясь блестящими змейками, вылитая из чанов отработанная краска.

Краска стекала к воротам в большую, очень красивую, сверкающую на солнце зеркальную лужу. Меня притягивал как магнит ее блеск, но от этого соблазна меня сразу уносили по воздуху крепкие руки нянь-Маруси. Душа сладко замирала в полёте, в сильных руках я высоко взмывала над зеркальной гладью и приземлялась уже на «нашей» стороне двора.

Во дворе, между двумя половинами дома росла старая мощная глициния. Её многочисленные серые стволы как канаты обвивали нашу террасу, и весной в высокие окна заглядывали гроздьи лиловых цветов. В душистых цветах жужжали пчелы, а на деревянном полу террасы играли тени перистых листьев. Наступил год, когда глициния вдруг погибла, вся эта красота сразу исчезла, и привыкнуть к новому, оголившемуся виду террасы было трудно, хотя гибель её была неизбежна. В астраханском крае все кусты и деревья живут только до той поры, пока их корни не доберутся до глубин, где лежат засоленные грунты.

Мой дедушка был музыкантом, в семье все играли на разных инструментах, а у мамы, к тому же, был сильный и чистый голос. Музыкальные вечера в нашем доме были частью его жизненного уклада и до моего рождения. Продолжались они и в те годы моего детства, когда этот дом был для меня родным гнездом. Позднее взрослые, как могли, мне

объяснили, что раньше, когда меня еще не было на свете, жизнь вообще была совсем другой, и вся семья жила тогда не в доме дьякона, а совсем в другом месте и другом большом доме, в котором тоже часто вечерами собирались и играли музыканты.

В двадцатые годы, о которых здесь идет речь, Нижнее Поволжье понемногу возрождалось после страшных лет кровопролития, голода и разрухи, когда вся прежняя жизнь сгинула и остались только заботы о том, чтобы не пропасть от голода и холода. Новая экономическая политика, или НЭП, как ее все именовали, спасла страну и оживила Нижнее Поволжье, сохранившее своё значение и прежние ресурсы для выживания в эти трудные и голодные годы

Верные друзья, уцелевшие в этой буре, стали опять собираться в бабушкином доме, и эти встречи для всех, включая хозяев дома, были спасательным кругом, скорее даже плотом, помогающим не утонуть в море новой реальности. Необходимо было продолжать жить в ней, иногда через силу преодолевая себя. Инстинкт заставлял их держаться вместе, чтобы не утонуть, поддавшись отчаянию от понесенных и надвигающихся потерь. Все, кто собрался в доме на Тихомировской, знали друг о друге если не все, то очень многое, и не было необходимости в разговорах на болезненные темы прошлого.

В какой-то момент почти полностью иссохшие в людях ростки жизни потянулись к свету. Робко возвращалась память о прошлой, казалось бы, навсегда ушедшей жизни, и вновь приходила тяга к музыке, которой она всегда была наполнена.

Все это я узнала от бабушки и поняла значительно позже, уже в сознательном возрасте, а тогда я только впитывала весь окружающий мир, вполне по-младенчески полагая, что я и являюсь его центром.

Кстати, это было не так уж далеко от истины. Мое несколько незапланированное появление на свет изменило уклад жизни семьи, повернув его к соблюдению того порядка, который образуется, когда среди взрослых ее членов растет маленький ребёнок. В этом порядке никто из окружения не остается свободным от забот. Все векторы прежней жизни сразу оказываются развернутыми в сторону ежедневно образующихся неотложных дел.

Далеко не все наши гости были профессиональными музыкантами, хотя многие из них были исполнителями в том инструментальном ансамбле, лидером и вдохновителем которого был мой дед. Кто-то из друзей приходил реже, но на концерты, где программа исполнялась в «отыгранном» звучании, собирался довольно большой круг слушателей. Бывало тесновато, сдвигалась мебель, но в конце концов размещались все пришедшие, музыканты настраивали инструменты, поправляли пюпитры, и наступала тишина ожидания.

Мне передавалась необычность общего настроения, и я, умерив нетерпение, замирала в своём любимом углу, за фортепьяно, у зеленого кресла. Здесь, за креслом, была уютная впадина, откуда я видела всю комнату и всех слушателей. Особенно же я ценила то, что здесь можно было потихоньку сползти, скользая по кафелю печки, на пол и укрыться от няни, бдительно ждущей момента моего укладывания спать.

Сегодня нам странно представить себе приход кого-то из близких нам людей или знакомых без предварительного телефонного звонка, а тогда еще не было телефонов, но была привычка живого общения, и нравы были куда проще, гости приходили без оповещения, и это никого не смущало.

Каждый вечер в одно и то же время непременно ставился самовар. Для жителей Астрахани, с ее зноем и сухостью, самовар был естественной и необходимой частью домашнего обихода, к тому же всегда кто-нибудь забредал в гости. К вечернему чаю в доме всегда имелось нехитрое угощение – ягодные пироги, пареная айва, варенье. Если хозяйка были чем-то заняты, гости могли откланяться, либо остаться и помочь хозяевам в делах, либо, не испытывая никакой неловкости, провести в доме время за книгой или фортепьяно и закончить вечер за чайным столом. В провинции тогда еще не расцвел буйным цветом «квартирный вопрос», но уже близко было время, когда это завоевание революции сметёт в небытие и домашние концерты, и все прочие «буржуйские выдумки».

В столицах «уплотнение» квартир пошло сразу же после победы революции, и даже одновременно с ней, и коммуналки вошли в жизнь как неизбежное дополнение.

Среди вечерних наших гостей самым близким и постоянным был доктор Кораблёв. Кажется, его звали Иван Павлович, но для меня он всегда был «доктор», когда я говорила с ним, и «доктор Кораблёв», когда в его отсутствии говорили о нём.

Доктор Кораблёв был известным, много лет практикующим в городе детским врачом и близким другом семьи. В среде городских медиков он славился как уникальный «слухач». Его стетоскоп спасал детские жизни в те времена, когда еще не так повсеместно имелся рентген и еще не было антибиотиков. Дружбе с доктором Кораблёвым был уже не один десяток лет, только ему доверялось здоровье бабушкиных детей, племянников и всех детей родных и друзей.

Он был из тех врачей, что не только лечат своих маленьких пациентов, но и выхаживают тяжелобольных, иногда несколько дней оставаясь в доме, пока малышам не станет лучше.

Не следует забывать о таких особенностях города, как гнилые ветреные зимы и страшный летний зной, в котором мгновенно начинает разлагаться всякая органическая еда, особенно рыба. Была еще близость степи с чумными грызунами и транзитный порт – все это вместе было субстратом, на котором бурно росли самые разные инфекции. В бабушкиной практике, когда ей случалось принимать трудные роды и под угрозой оказывались жизни матери и младенца, всегда посылали за Кораблёвым. Он сразу приезжал, даже если это случалось глубокой ночью.

Таким же давним и верным нашим другом была Марья Александровна Годт, тоже врач, причем потомственный, из семьи немцев-колонистов, обосновавшихся в Поволжье с екатерининских времен. В далеком прошлом, когда бабушка, выпускница женских медицинских курсов, только начинала свою работу в городе, её наставником был известный доктор Годт, отец М. А. Дальнейшая жизнь поворачивалась разными сторонами, наступили тяжкие времена для всех, а каждую семью в отдельности повсюду подстерегали свои тупики и свои собственные потери. Холерная эпидемия унесла родителей – Годтов, но Марья Александровна каким-то чудом тогда выжила. С тех самых пор она, закончив женские медицинские курсы, вернулась и уже всегда была рядом с нашей семьей, где бывала когда-то с родителями. В самые безнадежные периоды, когда на нашу семью обрушивались тяжкие беды, она была одна из тех, на кого можно было положиться всегда и во всём.

Во времена, о которых я пишу, Марья Александровна мне запомнилась, прежде всего, своей непохожестью на остальных наших знакомых и на всех членов нашей семьи. Она была всегда очень сдержана, даже суховата, и я, растущая в живом и эмоциональном общении, всегда ее немного стеснялась.

Внешне эти ее качества проявлялись и в манере одеваться. На ней никогда не было ярких или вообще каких-либо цветных одежд. Она была недурна и стройна, но одета она была всегда во что-то бесцветное, обычно это было тщательно отглаженное парусиновое, или другого материала, платье тусклого цвета и простого покроя. Такая же аккуратная панاما с опущенными полями была на голове.

От меня не утаилось, что мама и тётя между собой потихоньку подшучивали над этим странностями М.А. В нашем доме все женщины, независимо от возраста, включая бабушку и Маню, любили красивую одежду. Исключением была моя няня, нянь-Маруся. Она ничего не понимала в «фасонах», но зато любила делать «настоящую», то есть мужскую работу и читать книги, особенно предпочитая стихи. В общем же, ни малейшего намека на аскетизм в быте и привычках нашей семьи никогда не наблюдалось.

У Марьи Александровны была еще одна особенность совсем другого свойства. У неё была редкая болезнь – она не могла переносить шерсть животных, в частности кошек, тогда медицине еще не столь много было известно об аллергии и о борьбе с ней. Можно представить себе, как трудно жилось человеку с этим заболеванием в пропахшей рыбой

Астрахани, где не только на пристанях, но и в каждом дворе вольно жили и плодились многочисленные поколения кошек.

Когда на пороге возникала фигура М.А., бабушка, громогласно отдав команду убрать котов, выдерживала гостью в парадном, плотно прикрыв двери в дом. Тем временем Маня кидалась по всем углам и комнатам, ища и выволакивая оттуда наших кошек, спящих после ночных трудов.

Несмотря на манеру держаться, почти не участвуя в общих, иногда довольно бурных беседах, было ясно, насколько было сильно влияние М.А. в доме. Самый главный наш человек, бабушка, относилась к ней как-то особенно, не так, как ко всем.

Между ними бывали долгие беседы вдвоем, с глазу на глаз за чаем на террасе, и никогда никто из взрослых не пытался их нарушить. Я из любопытства все норовила остаться, прижавшись к бабушкиным коленям, но меня всегда уводили, пока я не смирилась и не поняла, что лучше самой исчезать вовремя. Характер бабушки порой приводил ее к поспешным выводам и решениям, о них она потом жалела, но признаваться в этом даже себе самой не любила. Она знала, что необходимый противовес этому она всегда могла найти в спокойной рассудительности Марьи Александровны.

Почти всегда вместе с М.А. приходила ее дочка Нилочка, полное ее имя было Неонила, такое старинное и необычное имя дала М.А. своей единственной дочери. Девочке этой в тот год было лет восемь, и мне очень хотелось с ней подружиться, но это всё как-то не складывалось. Нилочка, приходя к нам, держалась около своей мамы, слушала музыку и разговоры, и когда я звала её играть, улыбалась, но отрицательно качала кудрявой головой. Это меня огорчало, мне очень нравилась эта девочка, мне было обидно, что я для неё всё еще совсем малышка, ведь она на тот момент была вдвое старше меня.

В годы гражданской войны М.А. как врач была мобилизована и работала в передвижных воинских лазаретах в степи, на линии недавно построенной Кизлярской железной дороги. Осталось навсегда неясным, на чьей стороне, белых или красных, были госпитали в этих наспех оборудованных полуразбитых санитарных поездах. Вполне вероятно, что и сами медики не всегда могли определить, кому они помогают. Санитарные поезда переходили из рук в руки, пока все окончательно не потонуло в неразберихе отступления и общей обреченности.

Тогда там, в безводной степи, смешались остатки отступавшей на Астрахань Одиннадцатой армии красных с белоказачьими частями, выступившими им наперерез с флангов. Бывшие противники сбивались в общие толпы. Потеряв лошадей, без воды и пищи, дойдя до истощения и обезумев в тифозном бреде, тащились они по голой степи, не разбирая пути. Отставшие падали и оставались лежать. Сама собой исчезла важность того, кто за что и на чьей стороне воюет. Медики, как могли, пытались помочь людям, потерявшим человеческий облик, но еще живым, оказавшимся у своего последнего предела.

В один из промозглых дней астраханской зимы М.А. появилась на пороге прежнего, неизвестного мне, бабушкиного дома, в сбитых опорках, и каких-то невообразимых лохмотьях. Еще до того, как она сняла слои намотанного тряпья, бабушка, взглянув на ее лицо, поняла всё, и безошибочно определила количество недель, остающихся до родов. Случай был не из лёгких, роды были поздние, и тем не менее в положенный срок бабушка приняла в свои руки хорошую здоровую девочку и выходила обеих, и мать, и ребенка. Она даже сумела достать вакцину и сделала ребенку оспопрививание, что было тогда совсем не просто.

Пришло время, когда я узнала эту историю и многое другое о нашей семье из рассказов бабушки и сохранившихся старых писем. Лет в двенадцать меня стало занимать то, что было написано на этих желтоватых листках, ломающихся на сгибах. Ветры времени разметали и унесли эти листки из другой жизни, от них осталось совсем мало, если не считать того, что сохранила крепкая детская память.

Они всегда приходили к нам вместе – Марья Александровна с Нилочкой, и их присутствие для меня неотделимо от дома на Тихомировской. Когда в тридцатые годы большая часть нашей семьи уже переселилась в Москву, эта дружба не прерывалась, она продолжала жить в письмах. В то время люди активно писали друг другу, ждали письма, беспокоились и посылали телеграммы, когда они долго не приходили.

До войны мы с бабушкой, а иногда и с дедом, почти всегда летом приезжали в Астрахань, жили у тети Нины и опять встречались со всеми дорогими нам людьми. Бабушка весь год готовилась к этим встречам, ее неудержимо тянуло в город, где столько пришлось пережить и где это помнил каждый камень. Здесь остались труды, потери и заботы, определился ее непростой характер. С нее всегда был спрос за всё и за всех. И за тех, кого лечила, и за благополучие семьи, и за мужа и подрастающих детей.

В самом конце войны, когда уже не было на свете ни нашего дедушки, ни Марьи Александровны, Нила, ставшая военным врачом, бывая проездом в Астрахани, не переставала навещать бабушку и тетю. Она и моя нянь-Маруся всегда оставались для нас настоящими родными. Старых друзей и знакомых, собиравшихся когда-то в «зеленой» гостиной на Тихомировской, с годами становилось все меньше.

С самого начала войны, сразу по окончании мединститута, а может быть, даже не успев окончить последний курс, Нила была призвана в армию. Всю войну она прослужила в эвакогоспиталях, санитарных поездах, вывозивших раненных с боевых позиций в тыл. В последний раз я ее видела в доме тети, сразу после ее демобилизации, году в сорок седьмом; она пришла к тете Нине. Были каникулы, и я тоже была там.

Мои тогдашние приезды в Астрахань были скорее вынужденными; в Москве было очень голодно. И, что совсем уж не оставляло выбора: на лето нужно было освобождать койко-место в общежитии.

При встрече мы с Нилой крепко обнялись. Я смотрела и поражалась ее сходству с матерью. Исчез пласт времени, и передо мной стояла прежняя Марья Александровна.

Только минуту могла длиться иллюзия, прошедший временной пласт был так плотен, что и мы, пройдя через него, были уже и сами совсем другими. Очертания той, *другой* жизни, просвечивая сквозь него, казались теперь совсем далёкими.

Передо мной была стройная женщина в форме майора медицинской службы, с планками боевых наград. Лицо был молодым, но следы накопленной усталости лежали на висках и под глазами.

...Музыкальные вечера в бабушкиной «зеленой» гостиной различались и по количеству гостей, и по их составу. Бывали вечера, когда собравшихся было так много, что приходилось распахивать двухстворчатые двери в коридор. Как я понимаю теперь, это были репетиции перед какими-то концертами, которые проводились в разных городских залах. Со времён прежней, как ее тогда называли, *довоенной* жизни, были еще живы в городе прежние устоявшиеся традиции, хотя многие из них ушли навсегда. Так же, как и те места, где когда-то прежде собиралась городская публика.

В годы НЭПа, когда стало легче жить не только нэпманам, но и горожанам, что-то из прежней жизни, хотя и в неизбежно измененном виде стало возвращаться. В городских садах и набережных, где вечерами гуляла публика, с маленьких деревянных эстрад опять звучала музыка. Репертуар состоял из тогдашних шлягеров и мелодий из оперетт, а их исполнение кое-как собранными оркестриками было похоже на пародию. Но это был знак, что жизнь еще может вернуться!

Чтобы понять, почему это было важно, придется еще немного вернуться во времени и залезть в историю. Астрахань с середины девятнадцатого века становится музыкальной столицей Поволжья, городские театры и концертные залы были построены хорошими зодчими на средства богатейших меценатов. В этих стенах с прекрасной акустикой шли выступления местных певцов и музыкантов, сюда же ежегодно съезжались на гастроли столичные знаменитости. Приглашения на гастроли в Астрахань были знаком престижа и

охотно принимались. Здесь всегда был обеспечен прием публики, полные сборы и чествования с памятными подношениями.

Самую многочисленную основу городской культурной публики, посещавшей концерты и спектакли, помимо дворянского и купеческого сословий, составляла образованная часть горожан. Центрами притяжения интересов интеллигенции были известные передовые люди, высланные сюда из столиц и университетских городов за свободомыслие и «неблагонадежность».

В городе процветали городские музыкальные классы под патронатом Императорского Русского музыкального общества, в них позднее в качестве преподавателя трудился мой дед, и учились дети – мои дядя и тётя.

Все это было и отошло в прошлое задолго до моего рождения, а теперь пора опять вернуться в тот вечер моей жизни, когда, сидя на полу в углу гостиной, я, замерев, вслушивалась в тишину и ждала чего-то, что вот-вот должно было начаться. Было радостно, немного тревожно и хотелось куда-то спрятаться от этого ожидания. Передо мной темнела внутренность фортепьяно, в эту тёмную пещерку я любила залезать, меня туда неудержимо манил строжайший запрет что-либо потрогать. Когда кто-то садился за инструмент, перед моими глазами начинали оживать молоточки, обитые грязно-белым фетром, и гулкий звук шел со всех сторон сразу. Долго выдержать в этом звучащем укрытии было невозможно, и я выползала, пятась на четвереньках, пока мой тыл не упирался в заветный угол.

Самой яркой из всех гостей была всегда Софья Григорьевна Домерщикова. Она приходила не особенно часто, но почему-то было ясно с самого первого раза, что ее приход был важен для всех и что она вообще человек особенный. В моей голове возникала ревнивая догадка, что в музыкальных делах она даже главнее моего дедушки.

Внешность и манеры Софьи Григорьевны были необычны, я никогда еще ничего похожего не видела. Все в ней меня удивляло и даже немного пугало, особенно низкий властный голос. Когда она входила в гостиную, звук голоса и особенно смех совсем не совпадали с любезными словами приветствий, и невольно хотелось расположиться где-нибудь в сторонке, подальше от ее взгляда. У нее было крупное, очень белое лицо с сильно подведенными глазами и крашенными в неестественно-черный, даже скорее темно-синий цвет волосами. Таких прямых, жестких и отливающих металлом волос я не видела никогда. В детском моем невежестве мне было невдомек, какие сложные опыты приходилось тогда проделывать над собой женщинам, чтобы закрасить раннюю седину. До появления нормальной краски для волос в нашей стране оставалось тогда еще не менее полувека.

У Софьи Григорьевны с детства был деформирован позвоночник, и во всей ее жизни необъяснимым чудом природы явилась ее блестящая пианистическая техника. Здесь я позволю себе опять отступить от хронологии и вставить то, что узнала позднее. Софья Домерщикова обладала ярким талантом, он развивался и набирал мощь, вопреки всему, даже явному физическому недостатку. Есть тайны природы, непостижимые для нас, вместе с физическим изъяном С. Г. была наделена тончайшей музыкальностью, в сочетании с необычной для женщины силой длинных рук и крупных кистей.

Ее необыкновенный дар сразу выделил ее среди учащихся Петербургской консерватории, где ее заметил молодой С.В. Рахманинов. Известно, что их совместная концертная деятельность продолжалась и в Московской филармонии, и в гастрольных поездках по России. Вероятно, она продолжила бы и далее, но революция положила конец всему ходу и устройству прежней жизни, в том числе и жизни музыкальной.

Сергей Васильевич, отправившись в гастрольную поездку, не вернулся на родину и навсегда остался за рубежом, а С.Г. по здравому размышлению решила уехать из Москвы, надеясь переждать лихолетье в городе, где она неоднократно бывала с гастрольями, и где ее имя было хорошо известно и почитаемо. Это «переждать» было в тот период очень характерным для интеллигенции стремлением временно уехать, пока привычная жизнь не вернется «на круги своя».

Если меня не подводит память, в армянской диаспоре Астрахани были у С.Г. и родственные связи, и это обстоятельство в те беспокойные годы могло иметь решающее значение.

Не углубляясь в биографические подробности, отмечу только, что Софья Домерщикова всю дальнейшую свою жизнь связала с Астраханью и здесь, в этом городе, несмотря на тяжесть вживания в непривычную обстановку, расцвел ее редкий педагогический дар. В течение многих лет, вплоть до сороковых годов, ее трудами воспитывались замечательные исполнители, чьи имена известны в мире музыки.

В числе ее учеников была когда-то и моя тетя Нина, у нее, кроме врожденной музыкальности, были воля и сильный характер. Преодолевать ей приходилось многое: маленькая кисть с коротковатыми пальцами требовала особых упражнений, а её небольшой рост был дополнительной проблемой. Но в её небольшом крепком теле была физическая сила, а в характере – редкое упорство в утверждении себя. Софья Григорьевна угадала перспективы, поверила в свою ученицу и стала, не считаясь со временем, всерьез работать с ней, готовя для поступления в столичную консерваторию. В самый разгар подготовки тетя вдруг, ничего никому не говоря, перестала приходить на уроки к С.Г.

У Нины случился роман, изменивший всю ее судьбу; главная любовь ее жизни. Но это уже совсем отдельная история, и здесь я не коснулась бы её, если не хотела бы отметить благородство С.Г., которая в конце концов простила свою ученицу. Случай, когда ученик без объяснений оставляет наставника, это одна из самых тяжело переносимых нами измен.

Музыка была главным содержанием жизни С.Г., все остальные составляющие жизни и быта существовали для нее вполне условно, на самом дальнем плане и в той единственной проекции, что могла повлиять на занятия музыкой.

Многое, что случилось с нашей семьей вслед за этим, сильно изменило весь ход её жизни и состав её окружения, рядом остались только немногие истинные друзья. В числе оставшихся была и С.Г. Все обиды и недоразумения были забыты, они не замутили верность отношений.

Укрывшись за креслом, в своем уголке, я понемногу сползала по стенке на прохладный пол. Напротив меня в кресле сидела Софья Григорьевна, и я глядела на нее во все глаза и не могла оторваться. Все ее лицо, особенно глаза, словно жили вместе с музыкой, были ее частью и каким-то образом управляли ей. Мне становилось не по себе, когда на это лицо вдруг набегала тень и оно становилось каким-то совсем чужим. Словно случилось что-то неправильное и уже нельзя было ничего с этим поделать. Но вот, через секунду, музыка уже лилась так, как нужно, и лицо главной её повелительницы вновь оживало, и все вокруг сразу светлело.

От позднего времени мои веки становились всё тяжелее. Ярко светили лампы-молнии, подвешенные высоко под потолком, и постепенно из моих глаз к ним начинали протягиваться тонкие лучи. Эти светящиеся дугообразные нити, отразившись от моих глаз, уходили куда-то вдаль, далеко за пределы стен дома и там, в дальней дали, пересекались, образуя причудливую сеть. За эту светящуюся сеть стали уплывать звуки, за ними растягивались и плыли все предметы и лица. Все они уже были словно отделены от меня и друг от друга, и между ними уже начинали оживать какие-то неясные образы из побеждающего меня, понемногу, сна. Я чувствовала, как меня уносят тёплые руки, и уже в полутьме спальни, проснувшись на мгновение, слышала приглушенный закрытой дверью чистый мамин голос:

Не пой краса-а-авица при мне...
Ты пе-есен Гру-узии печ-а- а- альной,
Напомин-а-ают мне-е оне-е-е-е-е-е-е-е-е-е...
Другу-ую жизнь и бе-ерег дально-ой...

Для меня этот романс остался навсегда связанным именно с теми вечерами моего детства. Никаких прямых аналогий не было. Наш волжский берег, по любым меркам, не был дальним; да и печаль Грузии, вдохновившая поэта в дни ссылки, не были частью той жизни, которой мы жили в те годы. Она была просто *другой*, эта жизнь, не похожая на всю, что была позже.

Перекрёсток древних торговых путей в дельте Волги было пронизан влиянием Востока, пришедшим из глубин многих тысячелетий. Самые разные народы проторили пути на этот торговый перекресток, они шли с российского севера и с прикаспийского юга, с востока из Индии и Средней Азии. На запад уходил путь в Причерноморье, и далее в юго-восточную Европу и Малую Азию.

Население города состояло из представителей самых различных осевших здесь национальностей и конфессий. Может быть, и не всегда мирно, но в конце концов все они уживались, мудро обходя причины для вражды. Кроме наиболее многочисленных русской, казачьей и татарской диаспор, в Астрахани с незапамятных времен уживались кавказцы, калмыки, кайсаки (прикаспийские кочевники), персы и другие представители всех народов, живших вокруг Каспия.

По астраханским улицам вальяжно вышагивали верблюды в клочьях свалывшейся шерсти, запряженные в скрипучие арбы, с которых шла торговля арбузами, дынями, овощами и всем на свете, и далеко разносились певучие призывы торговцев. Я подбегала к окну, сквозь щели ставен была видна выбеленная солнцем, расчерченная почти черными тенями часть улицы. Днем меня не выпускали из затемненной прохлады дома, и только поздним вечером, когда отступал зной, начиналась настоящая жизнь.

В благодатных сумерках распускались душистые цветы, пели цикады, а с наступлением темноты начинали свою переключку сверчки. Трели сверчков, такие робкие с вечера, постепенно набирали силу и ближе к ночи звучали неправдоподобно громко. Я долго не знала, пока не увидела, что они на самом деле совсем маленькие, эти громкоголосые ночные певцы.

До этого я их представляла себе существами вроде сказочных гномов, настоящими невидимыми хозяевами домов и всего вокруг, что было скрыто темнотой. Слышать их можно было только ночью, и невозможно увидеть днем.

Бытовая культура обывательской жизни была далека от сказки, если смотреть из наших сегодняшних дней, отстранив ностальгический флёр. Не следует забывать, что при долгом знойном лете в большинстве городских домов не было ни водопровода, ни канализации.

Новые солидные дома строились с особой системой вентиляции, сделанной по немецкому образцу. Она делала почти неощутимым присутствие в доме клозета и кухни. Такое устройство имелось и у нас, в доме дьякона, но далеко не все владельцы домов в нашей округе могли себе это позволить. Неизменной принадлежностью улиц Астрахани были обозы золотарей с огромными бочками и ковшами. При их появлении улицы и дворы надолго пустели, двери и окна захлопывались.

В Астрахани, в татарской ее части, где мы тогда жили, было немало действующих мечетей. Утром и вечером на балконах минаретов появлялись фигурки муэдзинов, казавшиеся очень маленькими, и над крышами домов разносилась переключка их высоких голосов.

Когда мне было года три, моя тётя Нина, старшая мамина сестра, вместе с мужем, дядей Лёшей, переехали от бабушки в свою квартиру. Новый дом, где они теперь жили, был совсем недалеко от нашей улицы Тихомирова, и мы часто навещали друг друга. Обычно с вечерним визитом от нас отправлялись дед с бабушкой и, как правило, прихватывали с собой и меня. От прилива радости я всю дорогу прыгала и кружилась, изображая балетные па, пока меня крепко не брали за руки с двух сторон. Прыжки мои замедлялись в местах, где на низеньких скамейках сидели татарки, продающие сладости. Перед ними были

разложены бумажные фунтики с сахарной халвой, золотистой мушмулой, *чилимом* и прочими прекрасными вещами.

Я соединяла обе взрослых руки и робко заглядывала снизу:

«Ну, пожалуйста!» – Мне было хорошо известно, что на улице мне ничего не купят, но здесь и сейчас всё казалось совсем другим и страшно заманчивым. Появлялась надежда – а вдруг! Но мои страдания не находили отклика у бабушки – она была непреклонна. Дед молчал, хотя сам факт отказа мне в чём-то слегка портил ему настроение. Так на каждом углу возникала и тут же улетала маленькая тень конфликта.

На наш звонок калитку открывал дворник. Недавно отстроенный трехэтажный дом был необычным для Астрахани. Какой-то совсем нездешний у него был вид, с его обширным двором и садом. Дом был построен акционерным обществом, в котором работал дядя, и своим видом и размером он резко выделялся среди улочек и покосившихся домов старого квартала. В сотне метров от дома из серой мешанины крыш уходил вверх стройный силуэт большой мечети. Из окон тётиной гостиной можно было хорошо разглядеть ее высокий минарет, узорчатые кованые балконы и прекрасные изразцовые узоры, украшающие все здание.

Я, не отрывая глаз, смотрела на этот силуэт, парящий, как мираж, в вечернем небе над убогим окружением серых домишек. Мне объяснили, что мечеть эта персидская, и поэтому она стоит отдельно, не там, где обычные татарские мечети. Я это приняла на веру, не поняв по сути, но была абсолютно поражена подробностью, что в какой-то определенный день не следовало выходить на улицы, близкие к этой мечети, чтобы не попасть в толпу выходящих из неё людей. Мне запомнился рассказ кого-то о том, что люди в этот день выходят из мечети, бьют сами себя железными цепями до крови, и называется это страшное дело «шахсей-вахсей». Вскоре эти ритуалы, как многие другие, более безобидные, были пресечены антирелигиозными законами.

Отблеск прежней жизни, не понятной лично для меня, давал о себе знать через огромный старый бабушкин сундук. Эта была пещера Аладдина, замечательная уже тем, каким чудным и мелодичным звоном отзывался ее замок на поворот ключа. Ключ тоже был необычно большой, резной и красивый. Этот звон всегда отмечал начало волшебного праздника, которым бабушка баловала меня не часто. Я, замерев от восторга, получала из бабушкиных рук дивные сокровища, давно мне знакомые, но всегда желанные. Крепкий запах нафталина, шедший из этой бездонной пещеры, опьянял и обещал мне что-то еще никогда не виданное. Из глубин полупустого сундука появлялась череда волшебных вещей: огромные помятые шляпы с перьями и цветами, вышитые стеклярусом кружевные накидки, корсеты, невиданные высокие ботинки и перчатки из тончайшей лайковой кожи. Всё это великолепие было последним, что сохранилось, не было пущено в ход и перешито из-за его полного несоответствия новым временам. Мне до конца не верилось в то, что такие удивительные вещи можно было видеть когда-то на моей стоящей рядом бабушке, а не только на ее старых снимках.

Эти вещи, свидетели лучших дней, были, несомненно, европейского происхождения и качества. Понятно, почему рука не поднималась выбросить такую красоту. Хотя и непоправимо устаревшая, она всё ещё была красотой. Я примеряла на себя её остатки и разглядывала себя в зеркале старого трюмо.

Подозреваю, что эти примерки выглядели вполне уморительно и служили забавой для всех. Получалась игра в маленький и смешной театр.

В этот момент в дверях обычно возникала голова любопытной Мани. Увидев всё происходящее, она залилась хохотом:

– Ой, не могу-у!

В коридоре с перепугу заходила лаем тёткина собачонка. Недовольная суматохой бабушка отправляла всех, прикрывала двери, и мы всё укладывали в сундук обратно. И как-то всё веселье этой затеи уходило, прощально и нежно звенел замок от поворота ключа.

Бабушка брала меня за руку, наклонившись, целовала в макушку, и мы уходили от сказочного сундука в обычную жизнь

В начале тридцатых годов мои родители окончательно переехали в Москву, но вначале жили там неустроенно по разным съёмным углам. Родное наше астраханское гнездо еще долго не отпускало нас в чужой московский мир, и мы с мамой продолжали приезжать к бабушке каждый год.

Я повзрослела и не могла не замечать, как с каждым очередным приездом всё больше меняется моя *другая жизнь* и моя прежняя Астрахань. С каждым годом что-то уходило из её облика, и терялась его яркость и необычность.

Однажды прозрев, я подумала, что время уносило то, что делало её *восточным городом*. Знакомые места и здания словно понемногу заносились слоем серой пыли, обесцвечивающим и стирающим знакомые очертания.

В городе многое подновлялось и ремонтировалось, но при этом городским хозяйственникам почему-то особенно нравились серые, тускло-синие или коричневые цвета масляной краски. Густыми слоями этой краски каждую весну покрывалось всё, что потрескалось, облезло и могло попасться на глаза начальства.

Под слоем краски оказывалось всё чуждое и буржуазное, что еще оставалось от проклятого прошлого – затейливая лепнина и роспись бывших особняков и магазинов. В число «капитально обновлённых» попали: кондитерская Шарлау, интерьеры Черновских бань, уютные павильоны и бывшие модные лавки. Прежнее лицо города стёрлось, уступая требованиям новых стандартов. На пустырях и окраинах появлялись новостройки, возрождались трамвайные линии, проводились водопровод и электричество, в центральной части города появилась канализация. Жизнь и быт менялись по объективным законам времени. Изменения шли медленно; почему-то их ход иногда надолго замирал или сводился на нет.

Мне удалось застать многое из того, что в последующие годы навсегда затонуло во времени. Моя *другая жизнь* жила во мне всегда как нечто, отдельное от всего другого и не связанное с последующими событиями.

С каждым разом, когда я приезжала, город и жизнь в нем становились все более безликими, удивительно схожими с жизнью многих других советских городов. Названия астраханских улиц, гостиниц, кинотеатров и магазинов за редким исключением были абсолютно такими же, как в Вологде, Саратове, Хабаровске, Свердловске и далее по списку. Никакой *восточности*, всё как везде, без отступления от принятого стандартного набора. Многих новых астраханцев именно это и радовало, в смысле «и мы как все, и мы не хуже других».

Я давно стала взрослой, жила в Москве, там были мой дом, моя семья, моя работа. Астрахань становилась мне все более далека, она была уже совсем не той, которую я знала и любила и где когда-то жили мои самые близкие люди. И всё же я не могла отделить себя от этого города. Корни моей памяти, несмотря ни на что, всё еще держались за его солончаковую почву. Здесь мне было суждено много пережить в разные годы моей жизни. В том числе в те дни, когда мне пришлось хоронить живших здесь одиноко и умерших в течение одного года моих тётю и дядю. Теперь здесь не оставалось у меня даже знакомых, если не считать немногих соседей в тётином доме. Многих из них вспоминаю добром, а иных даже и помнить не хотелось бы, слишком много есть всякого в этих воспоминаниях.

Через восемь лет после ухода тёти случилась смерть мамы. Оглушенная смятением, я чувствовала себя выпавшей из жизненной обоймы, чужой себе самой и не нужной никому. Несколько месяцев я никак не могла с этим справиться и была совсем плоха. Показалось, что мне будет легче, если я съезжу в Астрахань, схожу на родные могилы и во все те места, где мы когда-то бывали вместе с мамой.

Был конец августа, время жестокой астраханской жары, я прибыла в город, и сложилось так, что трудно было с обратными билетами, и в моем распоряжении оказался всего один день. Я сошла с теплохода утром, и в моей сумке уже был обратный билет на ночной московский поезд. Я сдала багаж и поехала на трамвае в город. От центра, знакомым путём, по Кировскому мосту перешла Канаву, и на углу Спартаковской улицы меня словно какая-то сила затянула в проём полуразрушенных ворот. С прошлого моего приезда во дворе мало что изменилось. Так же в углу громоздились мусорные ящики среди мраморных разводков высыхающих вокруг помоев. Все так же часть двора, в давние времена бывшую садом, занимали ряды дощатых сортиров. Система канализации, ранее работавшая в доме, всё ещё не была восстановлена, и теперешние новые жильцы не утруждали себя хлопотами, их устраивал этот вполне привычный вариант «удобств во дворе». Каждый маленький сортирчик был принадлежностью одной квартиры, и поэтому на дощатых дверцах зримой гарантией порядка красовались разнокалиберные висячие замки. Длинная многоногая скамейка у крыльца и растущие около неё лохматые кустики кохии и «ночной красавицы» – всё было таким же, каким было уже много лет. Таким же, как в тот памятный день, когда мы с мамой, сдав ключи от тёткиной квартиры, уезжали отсюда навсегда.

Приближался полдень, жара уже набрала силу, и я поняла, что не рассчитала свои возможности и вряд ли смогу добраться до кладбища и без чьей-либо помощи разыскать могилы. С учётом времени на ожидание трамвая в оба конца, я просто не смогла бы это сделать в оставшиеся часы.

Стараясь держаться теневой стороны улиц, я, потеряв определенность цели, пошла вдоль сильно заросшей камышом Канавы, в сторону, где начинался когда-то татарский квартал. С непривычки я раскисла от жары, и даже узнавание каких-то памятных мне строений, таких как моя первая школа или еще сохранившиеся старые ворота с тумбами, не нарушало моего нарастающего равнодушия и недовольства своими действиями. Я брела по мало изменившимся улицам, думая, куда мне деть время до вечера, и вдруг меня что-то остановило и притянуло взгляд. Напротив, на другой стороне улицы я увидела серый от времени деревянный дом, его декор отличался плавной кривизной провинциального модерна и каким-то особенным фронтоном с овальным отверстием посередине. Это отверстие и видные сквозь него овальные куски вечернего или утреннего неба я столько лет видела из окна своей детской. Я огляделась, и мне вдруг стало ясно, я нахожусь у бабушкиного дома, на улице, бывшей Тихомировской, позднее ставшей Челюскинской.

С трудом веря самой себе, я начинала узнавать некоторые сохранившиеся рядом старые дома. Мне до мелочей были знакомы эти двери, лестницы и когда-то нарядные, а теперь тёмные и обветшавшие фронтоны. Наш, «дьяконов» дом я сначала не узнала, а узнав, долго не могла поверить, что этот, сильно вросший в землю старый дом и есть тот высокий и солидный особняк с двумя красивыми парадными.

Бывшее наше парадное было заколочено, низ двери, чуть покосившись, ушел в землю, но дом всё еще сохранял признаки когда-то добротного жилья. Кое-что было подновлено; ставни исчезли, и на серых стенах, подчеркивая их возраст, ярко белели современные стеклопакеты.

Я провела рукой по створке бывшей двери, пытаюсь в осыпающихся слоях краски найти следы от винтов, когда-то державших здесь медную табличку. Ко мне, опираясь на палку, подошла и поздоровалась старая татарка. До этого она подозрительно поглядывала на меня, сидя на лавочке у ворот. То, что происходило дальше, было неправдоподобно и похоже на сон. Тем не менее, всё было именно так.

Старуха вполне хорошо и почти без акцента обратилась ко мне по-русски, спрашивая, кого я ищу. Интонации её голоса и манера держаться что-то мне напоминали, но я никак не могла понять, что именно. Мы понемногу разговорились, и только тогда мне стало ясно, что она и есть та наша бывшая соседка по двору Фатима, жена давно умершего красильщика Гарая. Трудно было поверить, что такое может быть в наше время, но они

никогда отсюда не переезжали. Фатима помнила нашу семью, всех жильцов и обстоятельства той нашей общей *другой жизни*.

Мы смотрели друг на друга и обе не верили, что такое может быть.

– Как же не помнить! Здесь жил «акушерка», к нему ходили. Тут это помнят все женщины! – и, поворачивая ключ в замке ворот, совсем тихо добавила: – кто еще есть живой...

В нашей старой квартире теперь жил с семьей ее сын Сугут, тот самый, когда-то бегавший с нами во дворе бритоголовый карапуз. Теперь он стал человеком состоятельным, процветал в торговле и, по словам матери, был «начальник». Фатима радушно пригласила меня войти, у нее были ключи от бывшей бабушкиной квартиры. Я внутренне преодолела себя, но отказаться было невозможно, хотя чувствовала, как это не нужно. Обижать Фатиму в ответ на её радушие мне не хотелось. Я уже знала, что если жизнь являет чудо, его нельзя гнать, проявляя свою волю.

Зайти в дом, где уже ничего не было из того, что сохранялось в моей памяти, и видеть все переделки, делавшие его неузнаваемым, было невыносимо тяжело. Все это полностью навалилось на меня, когда я вышла из дома и простилась с Фатимой. Она всё приглашала приходить в гости вечером, когда придут с работы Сугут и его жена. Я оценила её внутренний такт и поняла ненужность любых возвращений в прошлое.

Я уезжала на ночном скором. Лежа на жёстких комьях матраса и вдыхая от влажного белья смесь запахов хлорки и железной дороги, я пыталась уснуть. В такт колесному ритму, в голове стучали всплывшие неожиданно слова

Не приходи по старым адресам
Не возвращайся в те места, где...

По несчастью или счастью
Истина проста –
Никогда не возвращайся
В прежние места...

Господи, как же там дальше? И чьи это строчки?.. Кирсанов?.. Светлов?.. Заболоцкий?.. Нет, совсем не похоже...

Я погружалась в дремотное забытьё. Просыпалась от пробежавших по вагону встречных огней, толчков состава и колёсного скрежета, все не могла отделаться от этих, неизвестно откуда прилетевших строк. Они стучали в голове в такт колёсам.

Чьи они, я так и не вспомнила.